МИРОВАЯ КЛАССИКА

Ю. НАГИБИН

Ты будешь жить

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Художественные впечатления от поездки известного писателя по Советской Молдавии.

- Юрий Нагибин
  - ○

Юрий Нагибин
Немота

Поначалу мне казалось, что я согласился на эту поездку бездумно. Впервые за очень многие годы я не писал несколько месяцев кряду. Пожалуй, с той самой поры, когда меня, семнадцатилетнего, постигла эта странная напасть, у меня не бывало столь долгого перерыва. Я писал, учась в школе и в медицинском институте, на войне и в госпитале после контузии, в поездках и на курортах, на охоте и на рыбалке. Хотя от вечного недовольства собой, от изнурительного сознания безнадежной отдаленности великих образцов я столько раз мечтал о том, чтоб перестать писать, не навсегда, разумеется, а на какое-то, быть может, и долгое, время. А после этого перерыва я стану писать меньше и лучше, лишь самое выношенное, отстоявшееся. Но я перестал писать не по сознательному решению, нет, это вышло само собой, без моего волевого участия. И когда мне предложили диковатую поездку в Молдавию с концертными выступлениями в Кишиневе и Тирасполе, я не колебался. Меня не смутило и то, что выступать мне придется в паре с профессиональной артисткой эстрады, исполнительницей устных рассказов собственного сочинения, и, естественно, я буду безнадежно проигрывать рядом с ней; что нам предстоит работать из вечера в вечер чуть не целую неделю, а это без привычки нелегко, и, наконец, что мне придется бубнить все время одно и то же, поскольку здесь исключена импровизация, скрашивающая обычные литературные вечера. Ничто меня не пугало и не заботило. Да и почему бы мне не заполнить пустоту внутри себя молдавскими впечатлениями? Там бывал Пушкин, там он написал «Черную шаль», «К Овидию», послания Давыдову, Чаадаеву; в Кишиневе, кажется, сохранился домик, в котором он жил, да хорошо полюбоваться и Днестром, попить домашнего вина в каса маре, так вроде называют красную горницу. Я и не заметил, как мое согласие обернулось посадкой в пузатый «Ан» на Внуковском аэродроме.

Столь же безмятежно состоялась в Кишиневе моя встреча с представителем филармонии.

— А где же ваша напарница? — спросил он. — Вы разве не вместе?..

— Она едет поездом.

— Почему?

— Не знаю.

— Может, она не переносит самолета?

— Право, не знаю.

Он как-то странно глянул на меня, и мы пошли к стоянке машин. Филармония прислала за мной громадный, видавший виды автобус, годный для перевозки целых концертных бригад, симфонических и духовых инструментов, включая грозные трубы-геликоны. Представитель сказал извиняющимся голосом:

— Не было другого транспорта. У нас много гастролеров.

Он что-то бубнил над моим ухом, то ли по поводу предстоящих выступлений, то ли о расстилающихся вокруг красотах, — за грохотом, звяком и лязгом старого пустого автобуса я не слышал ни слова. К тому же мне захотелось описать в уме внешность нашего водителя. Меня вдруг испугало, что я забуду его, как забываю сейчас всех встречающихся мне людей, как уже забыл самолетных спутников, как наверняка забуду представителя филармонии.

Водитель был юн, черен и смугл — настоящий молдаванин. Я пытался составить словесный портрет парня и не смог, у меня не оказалось образного материала, чтоб нарисовать излом его черных бровей, синеватые провалы щек под острыми скулами, узкий, темный язвительный рот. Я как-то сразу устал от всех этих усилий, меня даже в сон потянуло. Бог с ним, с водителем, пусть живет, как жил, не выраженный в словах!

Зачем обволакивать словами все, что попадает в круг зрения? И откуда возникла во мне эта дурацкая привычка? Я не мог вспомнить, когда точно это началось, но хорошо помню, что еще школьником, совершая свои обычные маршруты в окрестностях Чистых прудов, все время описывал про себя дома, деревья, трубы, тротуары, решетки, тумбы, возникающие на моем пути, лошадей, телеги, автомобили, дворников, их метлы и бляхи на груди, новых и примелькавшихся прохожих, вроде одного паренька с ярко-синими глазами и ныряющей походкой, напоминающей полет трясогузки. Это описание на ходу ничуть не утомляло меня, напротив — доставляло огромную радость, тем более что все маломальские удачи, попадания в цель намертво ложились в память и порой использовались в рассказах. Но, занимаясь беспрерывным воображаемым писанием, я не задавался практическими целями, а если так получалось, то непроизвольно.

Правда, в последние годы я нередко испытывал усталость и раздражение от безостановочного проборматывания окружающего. Собираешь ли грибы, ловишь ли рыбу, плывешь ли в челноке по весеннему водополью, таишься ли в скрадне с подсадной или топаешь по болоту за легашами, едешь ли по делам или ждешь на улице приятеля, чтобы посидеть с ним за

кружкой пива, — все время лепишь слова, как пельмени, и проклинаешь чью-то ненасытность, не дающую тебе ни секунды передыху.

А тут, пожалуйста, можно совершить перелет Москва — Кишинев, перенестись из зимы в лето, стать пассажиром «отца всех автобусов», мчащегося по стройной аллее нежно изготовившихся к цветенью деревьев, сидеть за спиной юного смуглого красавца и не откликнуться всему этому ни единым словом, даже малой напряженностью того внутреннего устройства, что рождает слова!

Ладно, будем считать, что я получил заслуженный отдых, и надо хорошо им воспользоваться — едва ли он окажется длительным.

Солнце из-за деревьев бросало в автобус пучки светлого жара, а тень каждого дерева пересчитывала нашу гуськом сидящую троицу, отщелкивала, словно костяшки счетов, шофера, меня, представителя филармонии. Я хотел было узнать у моих спутников, как называются эти деревья, но вовремя спохватился. Зачем обременять память очередной ненужностью?

Мир и так стал чудовищно дробным, каждая малость в нем обрела свое наименование, а деление все продолжается. И когда ты попадаешь в новую даль, на тебя обрушиваются тамошние наименования, подавляя твою и без того обремененную память, и что же будет, если не прекратится это дробление вещей, явлений, понятий, пребывающих в мире?

Вселение в гостиницу всегда представлялось мне одним из самых волнующих ритуалов человечьего обихода. И дело не только в том, что получение номера — это маленькое чудо, улыбка жизни, подарок судьбы; но с новым жильем, пусть временным, ты обретаешь новые привычки, настроения, заботы, радости и огорчения; ты вступаешь в сложные отношения с незнакомыми людьми: администраторами, коридорными, уборщицами, соседями по этажу. Ты будешь заискивать перед дежурным администратором, чтобы он не переселил тебя в номер без ванны в связи с приездом хора Мичиганского университета или футбольной команды, ты будешь упиваться столь редко дающимся тебе одиночеством, полной свободой, мечтать, словно в твоем возрасте еще возможны сладостные неожиданности.

Но сейчас я не испытывал ни малейшего волнения. Я почему-то был уверен в получении номера и ничего не ждал от него, кроме минимума удобств. Я не собирался ни работать, ни мечтать, ни встречаться с людьми, ни даже очаровывать коридорных и горничных, чтоб номер убирали в удобное для меня время.

Пока выписывали квитанцию, я слонялся по вестибюлю, ни о чем не думая, ни к чему не приглядываясь; поворошил газеты с нерусским шрифтом на стойке у киоскера, хотел купить журнал «За рулем», но у меня не оказалось мелочи, а у киоскера сдачи…

Я поднялся на лифте, протянул квиток коридорной, получил ключ, тяжело заполнивший ладонь, погрузился в сумрак коридора, щелкнул замком и вышел в свет своего прекрасного номера.

За окном, глубоко внизу, были маленькие домики под черепицей, дворы, тронутые зеленой молодой травкой, абрикосовые, уже зацветающие деревья, мусорные ямы, глиняные щербатые заборы, женщины, дети, старики в овечьих шапках; дальше, к горизонту, разворачивались холмистые поля, посреди них серо пылилась площадка цементного завода. Я долго глядел в эту скучную и чем-то грустную даль, затем передний план пейзажа населился старухой с мешком за спиной. Она приблизилась к глинобитной ограде и форсировала ее, словно пехотинец бруствер; сперва метнула за ограду мешок, затем пала на нее животом, вскинула ноги и перевалилась на другую сторону. Все это было проделано с ходу, без колебаний и хоть малой задержки. Мне так понравилась решительная старуха, что захотелось, вопреки обыкновению последних месяцев, «уложить» в себя все виденное из окна: простор от двориков до цементного завода со старухой в качестве фигуры, не просто оживляющей, но дарующей жизнь пейзажу. Я начал складывать слова, и сразу мозг охватила тупая усталость. Я знал, что потеряю все это, если не закапканю словами, но голова стала как оловянная. Ладно, сказал я себе, впереди еще много времени, дворы и крыши останутся, и холмы, и цементный завод пребудут на своем месте, и еще какая-нибудь старуха, или старик в овечьей шапке, или другое доброе человеческое существо явит чудо своей неповторимой жизни за этим окном. И мои силки сработают…

Я прилег на кровать. Сначала я отчетливо ощущал, будто зарываюсь в сон, как в стог сена. Я головой и плечами расталкивал вещество сна, отгребал руками, чтоб залезть поглубже в самую укромность, куда не доходят никакие послания яви, даже в образе сновидений.

И удивительно, до чего же быстро вынырнул я из этих глубин. Мой сон длился минут пятнадцать — двадцать. Но я полностью восстановил силы, потраченные на попытку описать старуху на фоне окраины.

Было начало третьего. Я принял душ, вернее, ошпарился кипятком, яростно плевавшим из обоих кранов — горячего и холодного, побрился, оделся и пошел в город.

Не сделав и полсотни шагов по главной улице, прямой, нарядной, зеленеющей набухшими почками и первыми стрелками клейких листиков, я наткнулся на старого знакомца. Впрочем, этот старый знакомец весьма молод, ему и сорока нет. Я знал его еще школьником, неуклюжим прыщеватым подростком, обещавшим стать красавцем, когда отвалится шелуха незрелости, окрепнет костяк, придет владение своим телом. Так оно и оказалось: помню, он мелькнул раз-другой легким, сияющим, золотоволосым ангелом, но свет быстро погас, крылья облезли, и хотя он сохранил приятность черт и стройность, казался человеком, до полушки истратившим юношеский запас, способность к свершениям. Сам он не понимал этого, был весь в поисках, в движении, менял республики и города в надежде найти себе наилучшее применение, руководствуясь не корыстью, а искренним заблуждением в оценке своих возможностей. И, глядя сейчас на странное, неуловимое лицо бывшего юноши-ангела, я вдруг испытал трепет рождающихся для определения ускользающей сущности слов. Но снова тяжелая, темно-багровая — я знал ее цвет — волна нахлынула на мозг, и мой знакомец ускользнул неназванным…

Уже не помню, как я оказался на одной из боковых улочек, перед опрятной греческой церковью, ставшей музеем молдавских вин.

— Сеанс через сорок минут, — предупредила кассирша, по-кукушечьи выглянув из окошка кассы.

Здесь проводилась дегустация вин, сопровождаемая лекцией. Только успел я купить билетик, как ввалилась группа туристов из Москвы, и винное начальство решило устроить для них внеочередной сеанс. Мне удалось проскользнуть вместе с земляками в лекционный подвал, богато отделанный деревом, с деревянными столами, лавками и налакированными декоративными бочками. На столах уже были приготовлены подносики с рюмочками, вмещавшими по двадцать пять граммов искрящейся жидкости. Нам предстояло ознакомиться с десятью марками сухих, полусухих и крепленых молдавских вин.

Лекция началась. Средних лет, с классически правильным лицом женщина, похожая на классную даму — столько в ней было достоинства, чопорности, важности на грани надменности, сознания своего превосходства над робеющей аудиторией, — звучным, хорошо поставленным голосом предостерегла нас от бездны алкоголизма. Четко противопоставив ожидающее нас исследование позору пьянства, она изложила общие законы употребления столовых вин, затем перешла к характеристике каберне, с которого начинается знакомство с молдавской лозой.

Я настолько обессловесился, что ее заученные фразы казались мне чудом образного мышления, а несложные определения — верхом художественности. Когда же она сказала о «грибном привкусе» хереса и желто-зеленоватая жидкость в самом деле оставила во рту аромат только что сорванного боровика, я чуть не заплакал от нежности к выражающему мир слову. «Вы почувствуете лесную землянику в десертной „Лидии“», — сказала лекторша, и впрямь, глоток наградил ощущением раздавленных языком о нёбо ягод. Но слаще хмельной влаги были мне называющие ее слова…

Я неспешно, в блаженной неге, которую вечно воспевал, но едва ли ведал Пушкин, ибо слишком рано и круто забрало его творчество, дошел до гостиницы, вознесся на свой этаж, ступил в номер и обалдел от пустой тишины. Наверное, такое вот чувство пустоты, оторванности от всего в мире, не только от близких людей, но и от всякого шума жизни, охватывает космонавта, проходящего в сурдокамере испытание на одиночество.

Я распахнул окно. Шум города, находящегося по другую сторону гостиницы, долетал сюда слабым, бесконечно затянувшимся вздохом, вплетался в большую тишину, становился ею.

Остаток вечера я провел в номере у наконец-то прибывшей партнерши. Подобно всем артисткам на гастролях, она привезла с собой чайник, заварку, сахар и сухари в тугой обертке. Еще у нее имелся зеленый сыр, сухая колбаса и какая-то другая вынослива снедь, которую никогда не встретишь на прилавках магазинов.

Мы чаевничали. Артистка после нескольких вялых и ненужных попыток усложнить свой образ всплесками романтических странностей стала тем, чем была на самом деле: стареющей, усталой женщиной, тянущей в одиночку семейный воз, но не сдавшейся и не отступившей от искусства. Она хорошо и точно рассказывала о доме, сыне, работе, бесконечных разъездах по городам и весям, дабы маленькая ставка обернулась необходимым заработком.

На другой день нас повезли в Тирасполь. Мы ехали прямо по солнцу, палившему в упор по нашему «рафику». Вокруг — тщательно возделанные поля, виноградники, плантации хмеля, фруктовые сады. Земля под хмелем и виноградом казалась расчерченной на квадраты и прямоугольники, как листья ученической тетради. Мне захотелось выразить это впечатление сильной и емкой фразой. Но никак не удавалось связать в тугой словесный узел колья на полях хмеля, колышки на полях винограда с геометрической точностью посадки. Я выдохся раньше, чем предчувствие фразы улыбнулось мне, и оставил

попытку дать образ возделанной земли. Лучше попробую назвать весь опрятный, мягкий, зеленый и бурый снизу, голубой вверху простор с населяющими его чистыми белыми деревеньками, цветущими абрикосами, простор, лишенный хаотичности, бережно организованный человеком, но и этого я не смог.

Бендеры открылись старинной крепостью, заводскими трубами, ширью Днестра, новостройками и розовой пылью. От тех низеньких сонных Бендер, что помнили Пушкина, тут ничего не осталось. Новый, современный, бурно строящийся промышленный город. Мы проехали главными улицами и свернули к Тирасполю.

С высокого моста далеко в обе стороны открывалась бронзовая под налитым солнцем вода. Ее прорезали узкие, длинные тела байдарок. Было в них что-то решительное и печальное, как чужая молодость.

Тирасполь сделал все от него зависящее, чтобы вырвать меня из плена немоты. Он встретил нас белозубой улыбкой гида-добровольца, студента-заочника театрального института. Блестящими черными вьющимися волосами, острыми бачками и благородной худобой щек юноша-гид походил на красавца матадора Домингина, если такое сравнение что-нибудь говорит читателю. Он провез нас по новому мосту, изящному, но слишком узкому — двум встречным машинам не разъехаться. На другом берегу, под сенью старых деревьев, приютилась шашлычная с очагом посреди маленького круглого зальца. Посетители сами жарили свиные шашлыки на коротких шампурах и ели с барбарисовой присыпкой, запивая легким светлым вином «Фетяска».

При выходе из шашлычной мы столкнулись с бородатым узкоплечим юношей. Он сердечно обнял нашего гида и несколько секунд мял бороду о его лицо. Это был художник театра.

— Помогите нам! — вскричал бородач. — Помогите городскому театру! Нашему замечательному, неповторимому театру!.. Не дайте ему погибнуть!..

С ним были какие-то женщины, но он начисто забыл о них и, продолжая взывать о спасении театра, полез за нами в автобус. Он был так силен и цепок в своем отчаянии, что мне невольно подумалось: если и другие тираспольцы похожи на него, театр не погибнет. Впрочем, никто и не думал закрывать театр, недавно возродившийся силами выпускников театрального училища. Просто молодежную труппу хотели пополнить оставшимися не у дел старыми актерами. Взволнованный бородач едва не уехал с нами, лишь жалобный вопль брошенных женщин заставил его выскочить на ходу из автобуса.

Но он не вовсе покинул нас. Его бренная плоть влеклась к шашлычной, но лучшее в нем — его высокий дух нашел представителя в лице нашего гида.

— Он чертовски талантлив и предан театру, как рыцарь Тоненбург Святой Деве! И другие ребята такие же. За театр — в огонь и в воду… Фанатики!.. Аскеты!.. Святые люди!.. Старики его развалят, им бы только до пенсии дотянуть, а у молодых в нем вся жизнь!..

Я глядел в горящие юношеские глаза и думал: «Черт возьми, я тоже теряю свой театр, но почему же не кричу, не взываю о помощи?.. Быть может, еще не поздно выйти из скорлупы и заорать: „Спасите мою душу!..“»

А потом был клуб, где нам предстояло выступать, и директор клуба, бывший актер с крашенными хной, но уже заседевшими от корней длинными, слабыми волосами, тщательно выбритым розовым лицом, напудренным подбородком, с ярко-голубыми экстатическими глазами. На нем был клетчатый пиджак с косо обрезанными спереди, на манер визитки, полами, крахмальная рубашка и ярко-красный, будто стеклянный, галстук. Поначалу мною владела уверенность, что человека этого на самом деле не существует. Вернее, он существует, но в ином, куда более естественном, привычном для окружающих виде. Но некие высшие, сочувствующие мне силы расцветили его специально для меня, чтобы вырвать из плена слепонемоты. Но я проявил железную устойчивость к этим добрым потугам. Многоцветный человек жеманничал, строил гримасы, комически всплескивал руками, казалось, подмигивал мне: очнись, мол, для тебя же стараюсь! Но я оставался нем…

А город, славный Тирасполь, борясь за меня, наслал новое чудо. Мы топтались в тесном предбаннике в ожидании, когда проветрят зрительный зал после выступления самодеятельного оркестра, и тут, будто из сна, возникли два изящных мушкетера в коротких форменных плащах, шляпах под страусовыми перьями, ботфортах, шпагой на боку, с лицами такой нежной прелести, о которой не мечталось даже красавцу Арамису, с темными, чуть подвитыми волосами, обрамлявшими персиковую смуглоту щек. На груди у мушкетеров висело на цепочке по золотому солнцу с загадочными буквами: ЭКС. Мушкетеры грациозно скользнули в нашу тесноту, от них шел тонкий запах цветов.

— Вы поедете с нами? — сказал мне один из них, а другой добавил почти жалобно:

— Ну пожалуйста!..

И тогда я увидел, что мушкетеры — девушки, и, совсем обалдев, с глупо-озабоченным видом спросил, что значат

загадочные буквы на их медалях.

— ЭКС — экспериментальный цех, — пояснили мушкетеры. — Мы встречаемся в финале городского КВН с пошивочным цехом.

Этот финал происходил в помещении театра. Экспериментальные мушкетеры выполняли выездное задание, именовавшееся «неожиданность». Они просили меня стать этой неожиданностью. У них машина, дорога туда и обратно займет пять минут. Мне только надо выйти на сцену, сказать несколько слов, и меня тут же доставят назад. Внезапно многоцветный человек поддержал просьбу девушек. Зрители немного подождут, он берет ответственность на себя.

Мушкетеры бережно, но решительно подхватили меня под руки. Мы рухнули в бархатную тьму ночи. Пока мы втискивались в «Москвич», подоспела моя партнерша. Мне было как-то не по себе, что ее не сочли неожиданностью, и я хотел уже предложить ей стать неожиданностью пошивочного цеха, но вовремя удержался от бестактности. «Москвич», словно застоявшийся конек, яростно рванул с места.

Мне было радостно и чего-то совестно, и я вдруг заметил угольные провалы в набитом звездами небе, почувствовал близость забытых слов и, возможно, соединился бы с ними, но мы домчались слишком быстро.

О том, что было дальше, хорошо сказала моя растроганная партнерша: пережить такое и — умереть, все равно ничего лучше уже не будет…

Можно ли сомневаться, что намечаемый праздник Тирасполя был мне выдан ради каких-то высших целей, а вовсе не моего тщеславия ради. Прелестные девушки, надевшие мушкетерский наряд, чтоб увезти меня из клуба, вся невероятная, незаслуженная доброта зала, дружно откликнувшегося на сомнительный сюрприз моего появления, должны были пробудить меня от спячки. Город тормошил меня Днестром, узкими, печальными телами байдарок, очарованием своих людей, жаром очага и терпкостью светлого вина. Но добился лишь одного: я решил, что не в оскудении интереса к окружающему, не в безразличии к нему причина постигшей меня немоты. Я любил Тирасполь, как ни один город в мире, мне хотелось связать свою судьбу с его театром, вступить в Тираспольский мушкетерский полк. Но утром следующего дня, схватившись за перо с давно забытым жаром, я не мог выдавить из себя ни слова о тираспольских впечатлениях.

Вернувшись в Кишинев, я попытался разобраться, только ли слов мне не хватает или дело в чем-то другом. Вероятно, что-то

случилось с безотказным аппаратом моей памяти, — я не помнил ни цвета плащей, ни цвета глаз мушкетерш. Несомненно одно, мне помнится что-то темное. Золотые кресты на темном фоне плащей. Быть может, девушки, подобно д'Артаньяну, принадлежали к черным мушкетерам? Нет, плащи их казались черными лишь в полумраке клубного предбанника, а когда мы шли на сцену, я знал, что они не черные. А какие же? Не помню. Не помню или не могу назвать? Я не помню, потому что вовремя поленился назвать этот цвет про себя.

Наверно, я заметил и цвет их темных, блестящих глаз, но тоже не посвятил ему ни слова и не знаю, какие у них глаза. Моя память сохраняет не объективный образ лица, явления, предмета, а «запись», которую я делаю в мозгу. Она запоминает слова.

Мне что-то приоткрылось в работе, которую трудолюбиво и безостановочно совершало сознание, чтобы я мог быть писателем. Оно все время создавало словесный образ виденного, вот почему, кстати, я уставал умственно и душевно от пребывания в жизни больше, нежели за столом, когда переносил эту жизнь на бумагу. Основная работа творчества происходила в соприкосновении с материалом действительности, а потом я скорее «записывал», нежели творил. Конечно, тут есть упрощение, схематизация, как и во всяком головном построении, касающемся таких тонких, неуловимых явлений, но для анализа упрощение допустимо, даже необходимо. Иначе погрязнешь в бесконечных оговорках и уточнениях.

Выходит, я целиком завишу от наблюдения? И да, и нет. Все дело в том, какой смысл вкладывается в слово «наблюдение». В обычном понимании это нечто длительное, пристальное и как действие вялое, а меня окружающее расстреливает с ходу. Я органически неспособен к длительному разглядыванию, к тому, что принято называть «изучением жизни». Для меня это означало бы утрату творческого запала. Мне нужно столкнуться с материалом и тут же обрести свободу от него. Тогда откроется простор мечте. Из столкновения с материалом жизни я выносил точные образы лиц, явлений, предметов, а мечта позволяла играть с ними как мне заблагорассудится. Я совершал много промахов из-за того, что не проникал в глубь вещей, но я выигрывал и главное для себя — возможность наделять их художественной жизнью. В тех редких случаях, когда я начинал добираться до самой сути не воображением, а изучением, я терял способность творить. Короче говоря, я фиксировал окружающее как художник и как робот, но строил произведение со свободой мечтателя. А сейчас мне не из чего было строить, механизм художника — робота — отказал.

Так что же произошло со мной? Слова, слова, где вы? Без вас все виденное и пережитое тут же умирает. Теперь я, как никогда, убежден, что вы не слова, вы суть…

В смятении и усталости я поднялся из-за стола и подошел к окну. Будто впечатанные в оконную раму, открылись дворики, крыши, абрикосовые деревья, холмы, цементный завод. И тут я увидел старуху с мешком на спине. Она приблизилась к забору, перебросила мешок на ту сторону и по-давешнему форсировала преграду. Мне стало не по себе — буквальное повторение раз наблюденного вызвало дурноту. А затем я все понял. Город нарочно прислал эту старуху. Он, как добрый учитель, повторил по складам строчку диктанта, пропущенную нерадивым учеником. Но усилия его пропали впустую…

— Пойдемте к Пушкину! — сказала, появляясь в дверях, моя партнерша.

Боже мой, совсем из головы вон! А ведь я еще в Москве мечтал посетить маленький домик на краю Кишинева, где Пушкин прожил несколько месяцев своей бессарабской ссылки.

И мы побрели сквозь воскресный, ликующий, нарядный, солнечный город по главной улице в сторону парка. Там мы начали спрашивать, как пройти к Пушкину. С чудесной, гостеприимной улыбкой — флаг Кишинева — прохожие объясняли певуче: все вниз и вниз, а за церковью направо, а там налево и еще направо, и будет рынок, а там рукой подать…

И мы шли утоpопленным, опадающим шагом под горку, сворачивали направо за церковь и тут же налево, и все ниже, приземистее становились дома, все старше деревья, асфальт сменился булыжником, вскоре меж лобастых камней зазеленела травка, зажелтели одуванчики; на плитняке и пыльных закрайках тротуаров возились босоногие дети. Каменные, покосившиеся, вросшие в землю дома со старинными медными ручками входных дверей, с воронками дождевых труб под карнизом незаметно сменились белыми сельскими мазанками с белыми глухими заборами, и по солнечно-меловой белизне повлеклись в сторону рынка легкие, бесплотные, как видения, цыганки, вовсе не яркие, не пестрые, а дымчато-голубые, что усугубляло их призрачность, и смуглые костлявые девочки-подростки подражали ведьминской повадке взрослых женщин — сторожкому шагу то ли беглянок, то ли лазутчиц, рыщущему огляду зорких глаз.

Неожиданно мы оказались у цели. Будто из милости к нам низенькая, ничем не примечательная хата согласилась принять на себя бремя исторической значимости. Сколько ни ломай голову, никак не уразумеешь, почему этот, а не любой другой соседний дом избрал Пушкин. Может, здесь двор как-то по-особому

повернут к мирозданию или звездам сподручнее заглядывать в маленькие окошечки хатки. Трудно поверить, что поступком гения может руководить простой случай или мелкий бытовой расчет.

Вход был со двора. Ступеньки крыльца вели не вверх, а вниз, так глубоко осела хатка в землю. В передней горенке висел в раме под стеклом большой и подробный текст, рассказывающий про великого насельника здешних мест. А дальше замелькали знакомые портретики молодого мечтательного Жуковского, сонного Дельвига, Кюхельбекера с грустным носом, Пущина — человека без особых примет, бесчисленные изображения Наталии Николаевны Пушкиной, неизвестно когда уполномочившей поэтов всех мастей называть себя доверительно Натали, императора Николая с базедовыми глазами и непременных стукачей — Булгарина с Гречем, а также бесчисленные искусные подделки под рукописные тексты и рисунки Пушкина, литографии петербургских плац-парадов — для характеристики эпохи и почему-то будочников возле полосатых будок, и совсем уж ни к чему — офорты художника Василия Звонцова, изображающие виды Михайловского.

Я вышел во дворик и, присев на низенькую скамеечку, стал ждать свою партнершу, задержавшуюся возле набивших оскомину экспонатов. Впрочем, этот домик-музей был не хуже себе подобных. Он ничего не давал мне, как, впрочем, не дало бы сейчас и любимое всей кровью Михайловское. Пушкин не мог исцелить меня, я это понял, едва переступил порог. Нужно искать исцеление в настоящем, на улицах, где дети возятся в пыли, где цыганки сизым дымом струятся по меловой белизне заборов.

Да, только отсюда, из мира моих дней, должен я ждать благости. Спасательный круг может бросить вот этот рассеянный прохожий, поминутно оступающийся с тротуара на мостовую, или девочка, баюкающая тряпичную куклу, или босоногий парень верхом на соловой лошади с полосатыми от пота боками, или старуха в шляпе с вуалеткой — как только найду слова хоть для одного лица, я буду спасен.

Литература останавливает быстро текущее, позволяет людям вглядеться в изменчивый лик бытия. И раз это стало твоим делом, будь добр вернуть себе слова. Не думай отвертеться. Слово — твое орудие и оружие, лишь им ты участвуешь в заботе народной. Без него ты как столяр без рубанка, маляр без кисти, плотник без топора.

Я понимал, что зря подстегиваю себя. Меня переполняло чувство вины перед городом, перед детьми, деревьями. Все вокруг так напрягалось жизнью, а моя немота не давала этой жизни

подняться над самой собой. Мне было стыдно и больно…

В вестибюле гостиницы нас ждали дети. Члены литературного клуба одной из школ нового микрорайона. Две девочки и мальчик с огромными шелковыми пионерскими галстуками. У девочек были косы, заложенные кренделями, и длинные, стройные ноги с развернутыми, как у балерин, ступнями. Возможно, они увлекались не только литературой, но и балетными танцами. Мальчик — староста клуба — был серьезен и собран, как перед испытанием огнем. Покраснев в тон своим галстукам, дети хором попросили нас приехать в их литературный клуб. Прямо сейчас. Ребята ждут. Вся школа ждет. У них есть машина. Новенький «Москвич».

— Ой, поедем! — тонким голосом сказала моя партнерша, изнемогая от неутоленной любви к детям.

Мне не хотелось ехать. Я боялся лишний раз убедиться в своей потере. Но я не мог отказаться. И не только из-за детей, а из-за партнерши, у нее глаза постарели, едва она догадалась о моих колебаниях. Мы втиснулись в «Москвич», староста клуба гордо сел рядом с шофером, а мы четверо уместились на заднем сиденье…

Зал был битком набит, сидели в проходах, на подоконниках, стояли в дверях. Такое вот многолюдие действует на меня, я сосредоточил внимание на передней скамейке. Чуть вкось от нас сидело дивное существо: смуглое, большеротое, златоокое. Подростковый возраст — самая неблагоприятная для девушек пора. Но эта, золотоглавая, обрела гармонию совершенной формы, когда сверстницы еще оставались глиной. Сознавала ли она чудо постигшего ее превращения? Не знаю. Если и сознавала, то не оплачивала утратой непосредственности.

Слушая выступление моей партнерши, она покатывалась со смеху, в изнеможении хваталась за свою прекрасную голову и убирала слезы с уголков золотых глаз кончиками пальцев. Она приметила, что ее наблюдают со сцены, и улыбкой просила извинить за слишком ребячливое поведение. «Да, правда, я уже большая, и мне надо быть сдержаннее, серьезнее, строже, но я ничего не могу поделать с собой. Наверное, я немножко не дотягиваю до такой, какой кажусь с виду, но не стану притворяться, будто я совсем, совсем взрослая».

Непонятно было, почему моя наблюдательная и чуткая партнерша никак не отзывается на близкое чудо. И странная мысль пронзила мозг: действительно ли существует эта девочка, или видение послано мне для воскрешения из мертвых? И когда мы покидали школу, я спросил партнершу: видела ли она девочку

с золотыми глазами? Она ответила с какой-то далекой улыбкой:

— А мне казалось, я ее придумала…

Мы едва успели привести себя в порядок, как прибыл автобус, чтобы доставить нас на первое выступление в Кишиневской филармонии. Взамен старой, дребезжащей колымаги, везшей меня с аэродрома, и элегантного маленького «рафика», на котором мы ездили в Тирасполь, нам прислали роскошный зиловский экспресс для междугородных рейсов. Удобные кресла с откидными, как в самолете, спинками, вентиляционное устройство, сетки для чемоданов, плавный, мощный ход — и как же досадно было расставаться со всем этим прочным комфортом, через каких-нибудь пять-шесть минут.

Когда мы после выступления вышли из филармонии, город был залит огнями, а небо оставалось светлым, с лиловатым отливом, и там, где дома позволяли проглянуть закат, лежала чистая, ровная, ярко-алая полоса.

Девушка с темными, робкими и упрямыми глазами увязалась за моей партнершей. Ей нужно было выяснить, стоит ли бросать педагогический институт ради театрального училища. Она играет в самодеятельности и мечтает стать профессиональной актрисой. Их режиссер верит, что из нее получится толк.

— А на каком ты сейчас курсе?

— На третьем.

— Боже мой, окончи сперва институт, а там видно будет. Сколько тебе лет?

— Скоро двадцать.

— Есть о чем говорить! Ты все успеешь. Учитель — такая прекрасная профессия! Быть с детьми, наставлять маленькие души, что может быть лучше?.. Конечно, все девушки, особенно миловидные, — быстрый, косой взгляд на собеседницу, — мечтают о театре. Или о кино…

— Нет, я кино не люблю!

— И правильно делаешь… Но дай мне договорить. Предположим, ты кончила театральный и попала на сцену. Это ровным счетом ничего не значит. Я четверть века играла снежинку, а Электру, Джульетту и Бесприданницу — знаменитые старухи. Ты думаешь, так легко превзойти своих учителей? Успех, слава!.. Поди добейся просто творческой удовлетворенности.

— Вот вы же добились.

— Господи, а чего мне это стоило! И все-таки по-настоящему счастливой я чувствую себя в классе. Шефствую над одной московской школой, читаю ребятам классиков, а потом мы говорим о всяких замечательных вещах.

— Я думала, что обращаюсь к актрисе, а попала к несостоявшемуся педагогу!

— Ну, вот спросите его. — Артистка кивнула на меня. — Как бы вы поступили на месте этой милой девушки?

Я и сам потом удивился своему нищему здравомыслию.

— Тут нет двух мнений, — гугнил я. — Надо кончить институт, получить образование и надежную профессию, а там видно будет…

— Да зачем же тогда жить?! — вскричала она раненым голосом.

Но я продолжал с тусклым подъемом пережевывать те убогие аргументы, какими принято удерживать молодых людей от решительных, поворотных поступков во славу бытовому смирению, душевному мещанству. Наверное, девушка не раз слышала подобную чушь, но окрашенную личным за нее страхом и потому еще менее убедительную. Она искала у нас помощи, чтобы спасти свою душу, гибнущую без любимого, единственного дела, а мы ни черта не поняли в ней. Да пусть она идет, куда велит ей сердце, пусть даже расшибется в кровь, — все лучше, чем начинать жизнь с трусливого отступления. И чего я фальшивлю столь проникновенно? Неужели из-за того, что выронил оружие из рук?..

Девушка оставила нас внезапно. Я еще нес свою галиматью, а ее уже не было рядом. Потом из тишины поздней улицы донеслось:

— Дураки!.. Старые дураки!..

А город упрямо не отступался от меня. Он прибегнул к самому сильному средству: пригласил меня на рыбалку. Я уверен, что незнакомый человек — Сергей Иванович, отыскавший меня в гостинице, чтобы позвать на озеро, действовал, сам того не ведая, по поручению высших мистических сил. Потом оказалось, что он совмещает в себе газетчика с тонким лирическим поэтом. Он был настолько истинным поэтом, что не стал проверять холодным рассудком правомочность возникшего в нем веления — позвать на ловлю карасей человека, которого в глаза не видел, и позвонил мне в шесть утра.

— Здравствуйте, это Сергей Иваныч говорит. Я вас не разбудил?

— Конечно, разбудили.

— Вот и хорошо. Надо ехать, карасей ловить.

— Да, да, — ответил я поспешно. — Я и сам так думаю.

— Вам часа хватит на сборы? Буду у вас в семь ноль-ноль.

Теперь я знал, что разбудивший меня человек служил в

армии. Басовитый, застуженный голос выдавал моего сверстника. Значит, я поеду на рыбалку с участником Отечественной войны, скорее всего бывшим офицером. О газете и поэзии я узнал, разумеется, позже.

Ровно в семь ноль-ноль я был в пустынном, прохладном вестибюле. Сонная дежурная за стеклянной загородкой, в очках с толстыми стеклами, выпукло увеличивающими глаза, напоминала рыбу-телескоп, тычащую тупым носом в стенку аквариума.

Нет, не была она похожа на рыбу-телескоп. Это я сочинил, сделав вид, будто опять могу «мыслить образами». Ладно, все еще вернется к тебе, поднимется с зеркала затихшей воды, или слетит с прибрежных кустов, или выюркнет из травяной чащи, или тихо спустится с облака…

Похоже, я стал заниматься самовнушением. Мой тихий смех спугнул дремоту администраторши, она посунулась к стеклянной загородке и, честное слово, стала точь-в-точь рыба-телескоп.

Прибыл Сергей Иванович. На редакционной «Волге». С редакционным шофером за рулем. Мы обменялись рукопожатием и помчались по главной магистрали, сквозь радужные брызги поливальных машин. Свежо и крепко пахло мокрым асфальтом, газоном, почками, первой листвой. Мне почудилось, будто я узнаю запах утреннего солнышка. Правда, если отнять все отчетливо различимые запахи, наполнявшие город в этот ранний час, то не возникнет запаховой пустоты, останется слабый, теплый аромат солнечного луча. И опять меня кольнула догадка о натужности, искусственности моих усилий откликнуться миру. Как это не похоже на прежнюю обременительную, неотвязную и счастливую заботу!..

Машина и молчаливый шофер меж тем делали свое дело: город остался позади, мелькнула на бугре громадная бочка — пригородная харчевня, плод игривого вдохновения местных зодчих, раз-другой сверкнула из-за деревьев и складок местности большая вода и внезапно открылась вся, населив своим прочным блеском простор. Искусственное озеро, сообщил Сергей Иванович, но еще не то озеро, где нас ждут не дождутся крупные, полукилограммовые серебряные караси.

Чтоб попасть туда, надо было миновать еще одну харчевню, оседлавшую бугор обочь шоссе, затем большое село, спуститься к изножию крутояра, обнаружить за кустарником узенькую полоску воды и вскоре обрести овальный разлив — искусственное озерцо в пологих песчаных берегах.

Мы подъехали к самому месту лова, где в озеро вонзалась узкая песчаная коса. На другом берегу, отступая от воды, земля

круто холмилась, по склонам раскинулись виноградники, а вершины поросли смешанным леском. В нижнем ярусе ближнего холма ползал трактор, просверливая тишину однообразным, упорным рокотом.

Наша снасть состояла из полдесятка удочек и двух донок, причем одна на современный лад была оборудована резинкой.

Когда выбираешь леску, чтобы снять пойманную рыбу, резинка растягивается, а грузило остается на дне, затем осторожно отпускаешь леску, и резинка сама утягивает ее на дно. Эту современную снасть ловко забросил молчаливый шофер, а у колокольчика, защитив его от ветра полами ватника, пристроился Сергей Иванович. Шофер же забросил вторую донку, а мне протянул бамбуковое удилище.

Солнце поднялось высоко и начало припекать. У острия косы заплескались крупные карпы, порой выбрасывая из воды свои литые тела. И каждый взлет карпа на воздух вызывал дружный ответный подскок сутулых ворон, озабоченно вышагивающих по косе. Время карпа еще не пришло, он начнет брать недели через две, а вот караси уже берут — набитые икрой, налитые молоками, — только не у меня и не у шофера, а у одного лишь Сергея Ивановича. То и дело тоненько звякал колокольчик, Сергей Иванович подсекал и спокойно, размеренно выматывал лесу, на крючке тяжело и неподвижно висел крупный карась. Наживка у нас была общая — толстые дождевые черви, но караси отдавали предпочтение современной снасти.

Раздразнив меня, Сергей Иванович уступил мне свою донку. Обмениваясь с ним удочками, я вдруг открыл его земной, а не символический образ. Сергей Иванович был коренаст, плечист, смугловат, на его рябоватом терпеливом лице сияли беззащитные глаза мечтателя.

Настал и мой час. Я отыгрался за все неудачи. Случалось, и по два карася сразу таскал, да еще довеском извивался на крючке какой-нибудь пескаришко или ершик.

Для меня очень многое связано с рыбалкой. И дивные плещеевские зори, и сумасшедший азарт великой ловли на проводку в излучинах Усолки, и мистическое лучение, когда я еще не знал вредности этого красивого лова, костры, ночевки в стогах сена, встречи с неожиданными прекрасными людьми. Пустые часы у воды не дарят меня воспоминаниями, все значительное, важное и волнующее, что у меня связано с рыбалкой, происходило в пору щедрого лова. И сейчас, когда тренькал колокольчик и мои пальцы, машинально произведя подсечку, ощущали тяжесть карася где-то там, в глубине воды, и я начинал выбирать леску, утрачивая эту тяжесть, потому что

карась всплывал, я перестал обманывать себя: как ни крути, как ни уходи от истины, не слова покинули меня, а то, что их порождает. Напряжение жизни ослабло во мне, вот в чем правда.

Да, я испытывал сейчас азарт, радость, упоение, но все это было лишь тенью былого азарта, радости, упоения. Да, я ликовал, охватывая пятерней холодное, гладкое, плотное тело рыбы, но то было блеклое, бессильное ликование усталости. Да, во мне пробуждалось былое, но тускло, на спокойном дыхании. Я был вроде бы прежний, но все во мне оставалось в уменьшенном масштабе. Я обманывался, принимая свои нынешние чувствица за былой накал.

Это состояние мне известно. Я уже пережил его однажды, после того как меня откопали в маленьком русском городке, на базарной площади с донцем стакана из-под ряженки, зажатым в руке. Госпитальных врачей интересовали мои лицевые и дыхательные ткани, моя бессонница, фобии, навязчивые представления, потеря ориентации в темноте, а меня самого мучила лишь внутренняя отчужденность. Я почему-то знал, что все остальное или вовсе пройдет, или ослабнет настолько, что не будет мешать мне жить, а вот омертвелости внутри себя страшился хуже самой смерти. И я понял, что скудный набор шаманских средств, какими врачи пытаются вернуть человеку утраченную душу, смешон, жалок, я должен сам себя лечить, и бежал из госпиталя. Меня уже зачислили в инвалиды, но я решил лечить себя от войны войной. И сумел-таки вернуться на фронт. Пусть не в часть, пусть без погон, но все-таки я до конца войны оставался с войной, а не там, куда меня прочили врачи. И все это время я заставлял себя писать, я продирался к словам сквозь немоту, как заблудившийся в дремучем лесу сквозь чащу.

С тех пор прошло много лет. Я прожил жизнь здорового человека, не боясь ни работы, ни драки, ни путешествий. И я не просил о снисхождении. Но случилось то, чего я давно уже перестал опасаться: вон когда аукнулось, и вот когда откликнулось…

Мы ели уху, сваренную молчаливым шофером по всем рыбацким правилам: с картошечкой, лучком, солью, перцем, лавровым листом и, взамен пшена, карасевой икрой. Уха получилась наваристая, вкусная, с дымком, да разве бывает что невкусным, коли сварено на костерике?

По-прежнему на том берегу рокотал трактор. Его шум казался родственным другим скромным голосам простора: шороху камыша, крикам дергача, свисту синичек, мычанию коров, пасущихся через дорогу по первой траве. Когда-то лишь далекий паровозный гудок вписался в музыку природы, все остальные

звуки, порожденные техникой, были ей чужеродны. А теперь и в тарахтенье трактора звучала лирическая нота.

Я слушал трактор, синиц, дергача, коров, смотрел на красноватые холмы и думал, что отсюда, от этого озера, с этого часа начинается новый отсчет моего внутреннего времени. Видно, нелегко было дать истинное имя тому, что творилось со мной, но я сделал это и, как двадцать восемь лет назад, готов к бою.

Я еще не вернулся к себе, не обрел слов. Но с каждым днем все отчетливее слышу их отдаленный шум.

В случаях, подобных моему, надо лечить не болезнь, а больного. И делать это должен ты сам. И если сумел начать борьбу, переломив в себе что-то слабое, застойное, пытающееся укрыться в болезнь, в ее безответственность, тухлый уют, тогда тебе многие начнут помогать.

Например, одуванчики. Мы скосили их в саду, чтоб не дать пойти в семя, а утром вместо золотистых головок сад был устлан легкими сероватыми шарами, и в воздухе реял пух — мертвые одуванчики осуществили главное назначение каждой жизни — продлить себя в потомстве…

Или чибис, постоянный обитатель болотца за клеверищем. Он переваливается в своем неровном полете, показывая то белую грудку, то черную спинку и крылья, и кажется, будто с ловкостью фокусника то скидывает, то надевает фрак…

Ты идешь лесной просекой, и у твоего глаза, почти касаясь зрачка, назойливо вьется крошечная темная мушка. Но попробуй вглядеться в нее, она тут же соскользнет к виску. И опять возникает, ее нельзя прогнать, эту смуглую мушку склероза. Даже недуг старости может доставить внезапную радость открытия.

А речка, возле которой ты прожил десятки лет и не знал ее вовсе? Попробуй проследить ее течение, ну, если не до самого истока, то хотя бы до того места, где она сужается в ручеек. Она одарит таким богатством разных разностей, что тебе и не снилось. Ты увидишь берега, обтоптанные диким зверьем, колхозные движки и мельнички, заводи, где под корягами темнеют поленьями щуки, веселую игру голавлей, пытающихся ухватить серебряной губой солнечный луч, кобальтовых стрекоз, повисших над водой, птичьи гнезда на обрыве высокого берега, купальщиц, поверивших в свою уединенность, рыбаков, странников, а коли повезет, так и русалку…

И очень хорошо пойти к солдатам близлежащей воинской части и поговорить о литературе, неспешно, спокойно, без громких фраз. Эти ребята со школьным, специальным и даже вузовским образованием — им такой разговор дороже увольнительной. И они провожают тебя в своих тяжелых кирзовых

сапогах и застенчиво, словно девушке, дарят букет полевых цветов. И не знают, что они дали тебе больше, нежели ты им…

Лечиться надо верой в то, что не только тебе нужен мир, но и ты сам для чего-то ему нужен. И в какой-то миг возгорится огонь опаляющий, и он будет словом.